



ФТМ



Владимир Войнович

Жизнь и необычайные
приключения солдата
Ивана Чонкина

Книга 3.
Перемещенное лицо



Владимир Николаевич Войнович
Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана
Чонкина. Перемещенное лицо
Серия «Жизнь и необычайные
приключения солдата
Ивана Чонкина», книга 3

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163913

*Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга
третья: Перемещенное лицо: ФТМ; Москва; 2020
ISBN 978-5-4467-1061-4*

Аннотация

В деревне Красное Нюра пишет себе письма от имени своего незаконного мужа, в мечтах повышая его до полковника. Иван Чонкин тем временем доходит с партизанами до Берлина, где опять попадает под суд. По приказу Верховного главнокомандующего, Чонкина должны немедленно доставить из Германии в Москву. Но все, как обычно, идет не по плану, и Чонкин оказывается... в Америке.

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	10
1	10
2	13
3	23
4	24
5	28
6	31
7	33
8	35
9	37
10	40
11	42
12	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Владимир Войнович
Жизнь и необычайные
приключения солдата
Ивана Чонкина
Книга третья
Перемещенное лицо

© Текст. В. Н. Войнович, наследники, 2020

© Агентство ФТМ, Лтд., 2020

* * *

Предисловие

Мне кажется, я заслужил место в книге рекордов. Этот роман писался без одного года полвека. В 1958-м задуман, в 2007-м окончен. Задуман был сразу как эпическое, растянутое во времени сочинение. Отсюда и название «Жизнь и необычайные приключения». Меня все время удивляло, почему, читая книгу в том виде, в каком она была, ни один человек не спросил: «Приключения-то есть, а где же жизнь?» Жизни в первых двух книгах было всего-то лето и начало осени 1941 года.

В самом начале, замыслив роман, я сочинял его больше в уме, думал о разных поворотах сюжета, комических ситуациях, пересказывал их своим друзьям и тем удовлетворялся. Записывать не спешил, полагая, что времени впереди много. Его и в самом деле выпало достаточно, но не всякое оказалось пригодным для спокойного сочинительства. Мне кажется, что писать нечто эпическое можно только в эпическом состоянии духа, а оно у меня с конца шестидесятых годов и по крайней мере до середины восьмидесятых было не таковым. Ядерная сверхдержава объявила мне войну, пытаюсь остановить, как говорится, мое перо. Когда в Союзе писателей меня учили уму-разуму, писатель Георгий Березко нервически взывал: «Войнович, прекратите писать вашего ужасного Чонкина». В КГБ меня настойчиво просили о том

же, приведя более веские аргументы в виде отравленных сигарет.

Меня не посадили, но создали условия, способствовавшие больше сочинению не эпического полотна, а открытых писем, то гневных, то язвительных, которыми я время от времени отбивался от нападавших на меня превосходящих сил противника. Я не оставлял своих попыток продолжения главного дела, но, раздраженный постоянными уколами и укусами своих врагов, все время сбивался на фельетонный стиль, на попытки карикатурно изобразить Брежнева или Андропова, хотя эти люди как характеры и прототипы возможных художественных образов никакого интереса не представляли. Они заслуживали именно только карикатуры и ничего больше, но роман-то я задумал не карикатурный.

Кстати сказать, я обозначил когда-то жанр сочинения как роман-анекдот, из чего некоторые критики сделали разнообразные выводы, но это обозначение было просто уловкой, намеком, что вещь-то несерьезная и нечего к ней особенно придираться.

Покинув пределы СССР, а потом вернувшись в него освобожденным от постоянного давления, которому подвергался долгие годы, я много раз пытался вернуться к прерванной работе, исписал несколько пачек бумаги и почти все написанное выбросил. Ничего у меня не получалось. И сюжет складывался вымученный, и фразы затертые, что меня ужасно мучило и удивляло. Я думал, как же это так, ведь еще

недавно было же во мне что-то такое, что привлекало внимание читающей публики. И все-таки, продолжая свои усилия, я снова и снова с тупым упорством толкал свой камень в гору.

Некоторые мои читатели убеждали меня, что «Чонкин» и так хорош и продолжения не требует, но я, написав две первые книги, чувствовал, что не имею права умереть, не закончив третью. Мое состояние можно было бы сравнить с состоянием женщины, которая, выносив тройню, родила только двоих, а третий остался в ней на неопределенное время.

Был момент, когда мне вдруг совсем надоело «искусство ставить слово после слова» (Б. Ахмадулина) и я вообще бросил писать, сменив перо (точнее, компьютер) на кисть. Сорок лет подряд я хорошо ли, плохо ли, но писал что-нибудь практически каждый день. Никогда не испытывал недостатка в сюжетах и образах, а тут как отрезало. Ни образов, ни сюжетов. Текущая перед глазами жизнь не возбуждает потребности как-нибудь ее отразить. Рука не тянется к перу, перо к бумаге, и компьютер покрылся пылью. Потом я вернулся в литературу только частично: писал публицистику и мемуары. Они тоже, кстати, давались с трудом. А уж пытаюсь сочинить хотя бы небольшой рассказ, и вовсе чувствовал полную беспомощность начинающего. Как будто никогда ничего не писал.

В конце концов я решил, что, наверное, все, колодец исчерпался и нечего зря колотить ведром по пустому дну. И с

мыслью об окончании «Чонкина» тоже пора проститься.

Высшие силы оказались ко мне снисходительны и позволили дожить до момента, когда я с радостью понял, что приговор, вынесенный мне мною самим, оказался преждевременным.

Тут я позволю себе отвлечься на лирику и посвятить читателя в некоторые подробности моей личной жизни. Будучи сторонником брака на всю жизнь, я тем не менее до недавнего времени был женат дважды. С первой женой через восемь лет разошелся, со второй прожил сорок лет до ее последнего вздоха. Так получилось, что первая книга «Чонкина» была написана при одной жене, вторая при другой. Их присутствие в моей жизни так или иначе влияло на эту работу, которая в осуществленном виде временами сильно осложняла жизнь мою и моих жен, деливших со мной все последствия моих замыслов и поступков. Поэтому я решил, что правильно поступлю, если посвящу, хотя бы задним числом, первую книгу памяти Валентины, а вторую Ирины.

Ирина умирала долго и тяжело. А когда все кончилось, я почувствовал полное опустошение, апатию и стал просто чахнуть. То есть как-то жил, что-то делал, писал что-то вялое, но не получал от этого, да и от самого своего существования, никакого удовольствия. Меня вернула к жизни Светлана, тоже какое-то время тому назад потерявшая самого близкого человека. Будучи существом жертвенным, она привыкла всегда о ком-то заботиться и, утратив предмет глав-

ной заботы, находилась в похожем на мое состоянии. Мне кажется, мы оба вовремя нашли друг друга.

Светлана окружила меня таким физическим и душевным комфортом, что мне ничего не осталось, как восстать из пепла. Я понял, что опять желаю жить, писать и, что интересно, даже могу это делать. Там, в колодце, оказывается, что-то все-таки накопилось. Я стер пыль с компьютера и остервенело застучал по клавишам, испытывая необычайное, давно забытое вдохновение. На семьдесят пятом году жизни я работал, как в молодости. Путал день с ночью, поспешая за героями, которые, как раньше, сами себя творили. Могу сказать уверенно, что без Светланы этого бы не случилось. Поэтому третью книгу я по справедливости и с любовью посвящаю ей.

Часть первая

Вдова полковника

1

Присвоение Ивану Кузьмичу Дрынову очередного генеральского звания и звания Героя Советского Союза, естественно, привлекло к себе внимание советских журналистов. Тем более что случилось это в начале войны, когда Красная армия на всех фронтах отступала и генералов чаще расстреливали, чем награждали. А тут генерал оказался обласкан властью, и ходили слухи, что лично товарищ Сталин пил с ним чуть ли не на брудершафт. Конечно, журналисты кинулись к генералу со всех сторон, но расторопнее всех оказался, как всегда, корреспондент «Правды» Александр Криницкий, уже писавший о подвигах Дрынова. Будучи лично знакомым с генералом и представляя главную партийную газету, он прежде других добился у Дрынова повторного приема. Прием состоялся в подмосковном санатории, куда генерал был послан для короткого отдыха и восстановления сил.

Криницкий нашел генерала прогуливающимся по ковровым дорожкам первого этажа в полосатой пижаме с прикрученной к ней Золотой Звездой. Они устроились в холле под

фикусом. Криницкий достал из полевой сумки блокнот, а Дрынов из кармана – пачку папирос «Северная Пальмира». Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что, хотя ему и удалось провести блестящую военную операцию, не надо забывать, что подобные удачи бывают у генералов только тогда, когда отважно воюют руководимые ими солдаты. Тут к слову он вспомнил о Чонкине и подробно рассказал Криницкому о подвиге этого бойца. О том, как тот, защищая самолет, совершивший вынужденную посадку, героически сражался с целым полком, но теперь уже, с каким именно полком, уточнять не стал.

Поскольку участники беседы были сильно выпивши, рассказ генерала Криницкий запомнил неточно, а блокнот свой по дороге в редакцию потерял. Пытаясь восстановить рассказ Дрынова, он вспомнил, что Чонкин охранял самолет, на котором сам же как будто и прилетел. Поэтому Криницкий решил, что Чонкин был летчиком. Дальше нехватку материала он восполнил полетом своей журналистской фантазии, которая его никогда не подводила. Это, кажется, именно он создал миф о двадцати восьми героях-панфиловцах, вошедший в учебники истории как неоспоримый факт подвига, при котором он сам почти как будто присутствовал. Этих героев, якобы принявших неравный бой с немецкими танками и погибших у разезда Дубосеково, он придумал и приписал мифическому комиссару Ключкову мифическую фразу, которую тоже, естественно, сочинил и которой гордил-

ся до самой смерти: «Отступать некуда, позади Москва!» Да и не только гордился, но каждого, кто сомневался в полной или хотя бы частичной достоверности легенды, подвергал в печати такой резкой критике, что на долю усомнившегося выпали большие испытания.

Вот и о подвиге летчика Чонкина Криницкий сочинил очерк, который в редакции был признан лучшим материалом недели, а потом и месяца, и был вывешен на специальной доске. Криницкий целый месяц ходил чрезвычайно довольный собой, гордо выпятив грудь и живот. Впрочем, нет, не месяц, он всегда ходил, гордо выпятив все, что мог, потому что через месяц оказывалось, что, к зависти коллег-журналистов, он опять написал лучший очерк о том, чего не видел. Газета с очерком о Чонкине разошлась по всей стране и могла бы сразу дойти до Долговского района, но не дошла, потому что район был еще оккупирован немцами, читавшими в основном газету не «Правда», а «Фёлькишер беобахтер».

Одним из прилежных читателей «Фёлькишер беобахтер» был военный комендант города Долгова оберштурмфюрер СС господин Хорст Шлегель. Сейчас он сидел в своем кабинете, бывшем кабинете бывшего секретаря райкома ВКП(б), героически погибшего Андрея Ревкина. В кабинете с переменой властей ничего принципиально не изменилось: тот же двутумбный, покрытый зеленым сукном канцелярский стол хозяина, тот же длинный стол, приставленный к главному буквой «Т», для заседаний бюро райкома, а теперь неизвестно для чего. Перемена коснулась только портретов. Раньше за спиной секретаря висели портреты Ленина и Сталина, а теперь за спиной коменданта – портрет Гитлера. А от Ленина и Сталина остались два невыгоревших пятна.

В описываемый момент комендант был занят тем, что, напевая известную немецкую песню «Ich weiss nicht was soll es bedeuten» на слова еврейского поэта Гейне, собирал посылку жене Сабине из города Ингольштадт. Таким образом он решил наконец ответить на ее многократные и нелепые просьбы прислать ей шелковые чулки, кружевные панталоны и французские духи, потому что ей якобы совершенно не в чем ходить в церковь или в театр. Он ей в ответ первый раз написал, что в церковь и даже в театр не обязательно ходить в кружевном белье, он очень надеется, что никто ей

под юбку не заглядывает ни в театре, ни даже на исповеди, а если кто-то где-то и заглядывает, то он ничем этому способствовать не только не хочет, но и не может, потому что здесь того, что она просит, просто нет. Сабина замечание насчет возможных подглядывателей под ее юбку пропустила мимо ушей, но выразила недоумение: неужели там, где он служит, нет женщин, а если есть, то в чем же они посещают церкви и театры? В пример Хорсту она привела их бывшего соседа мыловара Йохана Целлера, который своей Бербель регулярно присылает и нижнее белье, и верхнюю одежду, и косметику. «Mein Shatz (сокровище мое), – отвечал ей язвительно Шлегель, – насколько мне известно, мой друг Йохан служит в Париже, а я в данный момент нахожусь в маленьком российском городе, который ты даже не найдешь на карте. Поверь мне, между этим городом и Парижем есть очень большая разница, и ассортимент здешних товаров не совсем совпадает с тем, что можно найти во французских бутиках».

Поскольку она объяснения его игнорировала и те же просьбы повторяла в каждом письме, он решил ее проучить и по совету своей помощницы фрау Каталины фон Хайс собрал-таки посылку, в которую вложил то, что носили здешние женщины: трикотажные рейтузы с резинками под коленями, шерстяные носки, ватные штаны, ватную телогрейку, объяснил письменно, что это типичный гардероб здешних дам, и ко всему приложил флакон тройного одеколona. Он укладывал свои подарки в картонную посылочную короб-

ку, когда в дверь заглянула только что упомянутая Каталина фон Хайс. Каждый, кому когда-то приходилось встречаться с капитаном Милягой и остаться в живых, узнал бы в этой густо накрашенной блондинке бывшую секретаршу начальника НКВД Капитолину Горячеву. Теперь бывшая Капитолина существовала под своим настоящим именем, а может быть, тоже под выдуманном, иные шпионы настолько часто меняют свои имена и фамилии, что порой и сами не помнят, как именно были когда-то названы мамой и папой. Под своим или под ложным именем, но трудилась эта женщина (а может, она и не женщина была?) на благо Великого рейха (или на кого-то еще) в том же кабинете немецкого Там Где Надо, исправляла ту же примерно должность (для виду, конечно, шпионы всегда то, что видно всем, делают понарошку, а на самом деле имеют совсем другие цели). Время от времени исполняла она и внедолжностные обязанности, те же, что и при капитане Миляге. Это дает нам право предполагать, что, наверное, была она все-таки женщиной, потому что если бы нет, Миляга, или Шлегель, или хотя бы один из них уж до этого докопался бы. Короче говоря, Каталина фон Хайс (так уж и будем ее называть) заглянула в кабинет своего как бы начальника и сообщила ему, что некий местный селекционер ищет с ним встречи.

– Кто? – переспросил Шлегель.

– Здешний сумасшедший, – сказала Каталина. – Очень забавный тип.

– Ну хорошо, пусть войдет.

Шлегель убрал со стола коробку, сел в кресло и сделал вид, что пишет нечто исключительно важное.

Дверь отворилась, и в кабинет, кланяясь от порога, вошел сопровождаемый Каталиной странный человек в брезентовом плаще поверх ватника, в холщовых штанах в полосочку, заправленных в высокие яловые сапоги с самодельными галошами, склеенными из автомобильной резины. Через плечо у него висела полевая потертая сумка, а в левой руке он держал широкополую соломенную шляпу.

Приблизившись к столу коменданта, посетитель улыбнулся и сказал:

– Здравия желаю, гутен таг, господин комендант, позвольте представиться: Гладышев Кузьма Матвеевич, селекционер-самородок.

Каталина великолепно знала русский язык (не хуже капитана Миляги), а немецкий вообще был для нее родной, но слову «самородок» в немецком языке подходящего эквивалента она не нашла и перевела его как зельбстгеборене – сам себя родивший.

– Как это сам себя родивший? – удивился оберштурмфюрер. – Даже Иисуса Христа женщина родила, а он из яйца, что ли, вылупился?

Каталина засмеялась и перевела вопрос гостю.

Тот с достоинством ответил, что сам себя ни из чего не вылуплял, но, не имея достаточного образования, достиг об-

ширных знаний личным трудом и талантом, в чем-то превзошел даже самых образованных академиков и вывел овощной гибрид, которым желает накормить германскую армию.

Естественно, комендант поинтересовался, что за гибрид. Гладышев положил шляпу на соседний стул, торопливо раскрыл полевую сумку, вынул оттуда несколько газетных вырезок с посвященными ему статьями, заметками и фотографиями и выложил на стол перед комендантом.

Каталина предложила перевести тексты, комендант сказал «не надо» и остановил взгляд на одной из фотографий, где Гладышев был изображен с пучком гибрида, взглянул на самого Гладышева, переглянулся с помощницей.

– О вас так много писали советские газеты. Вы большевик?

– Ни в коем случае! – Гладышев испугался и прижал руку к груди. – Напротив. Являюсь решительным противником советского строя, за что многократно подвергался преследованиям...

Шлегель сложил руки на груди и откинулся в кресле.

– Интересно! Скажи ему, что все русские, которых я здесь встречаю, утверждают, что преследовались коммунистами. И как его преследовали? Арестовывали? Сажали в тюрьму? Пытали? Загоняли под ногти иголки?

Фрау фон Хайс перевела.

Гладышев признал, что таких неприятностей ему, слава богу, удалось избежать. Но советская власть не признавала

его научных достижений и не давала ему возможности вырастить созданный им гибрид, который он назвал ПУКНАС, то есть Путь к национал-социализму.

– Если бы германские власти дали мне достаточно земли под мой гибрид, я мог бы снабдить полностью всю германскую армию. – Зажав шляпу между коленями, Гладышев широко раскинул руки, словно пытался обнять всех, кого готов был накормить. – Вы представляете, господин офицер, с каждой площади мы могли бы снимать двойной урожай картофеля и томатов одновременно!

– Хорошо, – сказал оберштурмфюрер через переводчицу, – мы ваше предложение, возможно, рассмотрим позже, когда закончим эту войну. Имеете сказать что-нибудь еще?

– Еще? – Гладышев замялся, не зная, как изложить гипотезу, которая кому-то может показаться невероятной. Конечно, ни с одним советским чиновником он подобными сообщениями поделиться не мог. Но перед ним был представитель иной, более развитой цивилизации. У него должен быть более широкий взгляд на вещи.

– Понимаете... как бы вам сказать... это звучит, вы скажете, дико... и я бы с вами согласился... но я лично был свидетелем превращения лошади в человека.

– Лошади в человека? – переспросила Каталина.

– Допускаю, что вы мне не поверите, – предположил Гладышев, – но у меня есть даже письменное свидетельство. Вот... – он порылся в полевой сумке и выложил, одновре-

менно разглаживая, клок бумаги, на котором была написана круглым полудетским почерком одна фраза.

– Что это? – безразлично посмотрел на бумажку комендант.

– Здесь написано, – перевела фрау фон Хайс, – «Если погибну, прошу считать коммунистом».

– Что это значит? – не понял комендант. – Кого считать? Вас?

– Что вы! – выслушав перевод, заулыбался Гладышев. – Разумеется, не меня. Я в партию никогда заявлений не подавал. Это Ося...

– Ося? – переспросил Шлегель, показав, что и он неплохо говорит по-русски. – По-моему, Ося – это еврейское имя. Не так ли, фрау фон Хайс?

– Еврейское? – испугался Гладышев. И заулыбался: – Но это не еврей. Ося, Осоавиахим, он не еврей, он мерин, то есть конь, но, как бы сказать, кастрированный.

– Еврей, господин ученый, – нахмурился Шлегель, – понятие расовое. Еврей, хоть кастрированный, хоть обрезанный или крещеный, для нас все равно остается евреем и должен быть выдан германским властям.

– Тем более, – добавила бывшая Капитолина, – если хочет быть коммунистом.

– Он не хочет, – засуетился и торопливо залепетал Гладышев. – Он хотел. Но его застрелили. Он был мерин, но его застрелили как раз тогда, когда он в результате упорного труда превратился...

– В еврея? – спросил оберштурмфюрер.

– Ни в коем случае, – решительно возразил Гладышев. – Он превратился просто в человека.

– Что значит просто в человека? – заспорил эсэсовец. – Какое же просто, если он еще не превратился, а уже просит считать его коммунистом?

– Ну, это он по глупости, – попытался объяснить Кузьма Матвеевич. – По глупости и невежеству, тем более что вырос в советском колхозе и, сами понимаете, имел отсталые взгляды. Но если в принципе германское командование проявит интерес...

– Нет, – решительно сказал оберштурмфюрер. – Германское командование к этому интереса не имеет. Впрочем, нам, – сказал он и поднял кверху указательный палец, – интереснее был бы обратный процесс превращения человека в лошадь. А пока слушайте, господин сам себя родивший, идите-ка вы к себе домой, и если действительно хотите способствовать идеалам национал-социализма, то начните с выявления скрывающихся у вас евреев и коммунистов.

– Слушаюсь! – повиновался Гладышев и направился к выходу, но у двери все-таки остановился. – Извиняюсь, господин офицер, а как же все-таки насчет моего гибрида?

– Мы о нем поговорим в другой раз, – пообещал оберштурмфюрер. – А сейчас у меня к вам вопрос. Это, извините, что у вас на ногах? Я имею в виду не сапоги, а то, что на них.

– Это? – Гладышев посмотрел на свои ноги, пожал плечами, не понимая, чем его обувь могла заинтересовать столь важного представителя великой Германии. – Это так, резиновые изделия.

– Что-то вроде галош? – попробовал уточнить эсэсовец.

– Можно сказать и так.

– Это советские галоши, – усмехнулась бывшая Капитолина. – Если я правильно помню, русские их называют чуни, гондоны, говнодавы и ЧТЗ. ЧТЗ, – объяснила она Шлегелю, – это Челябинский тракторный завод.

– Очень интересно, – сказал Шлегель. – И они действительно не пропускают влагу?

– Никогда, – заверил Гладышев. – Очень качественный товар.

– Правда? – Шлегель вышел из-за стола, обошел вокруг Гладышева, потрогал чуни ногой. – Послушайте, господин ученый, а не продадите ли вы мне эти ваши вот...

– Мои эти вот?.. – растерялся Гладышев. – Они вам нужны? – он встрепенулся. – О, если нужны, то конечно. – И стал сдирать чуни, наступая носком одной ноги на пятку другой. – Я с удовольствием преподнесу вам в подарок. В знак огромного уважения.

– В подарок не надо, – остудил его Шлегель. – Вы должны знать, что немецкий офицер взятка не берет. Я вам заплачу за ваш тракторный завод двад... то есть пятнадцать оккупационных марок.

После ухода Гладышева Шлегель добавил приобретенный товар к тому, что уже было уложено в посылочную коробку, и дополнил сопроводительную записку жене объяснением, что эту обувь местные дамы надевают, когда ходят в театры, в кабаре и другие увеселительные учреждения.

В оправдание Кузьмы Матвеевича Гладышева следует сказать, что он вовсе не был убежденным противником советской власти, как и не был осознанным сторонником национал-социализма. Но он, подобно многим ученым, хотел бы стоять в стороне от политики, считал самым главным делом жизни осуществление своих научных изысканий, а с чьей помощью это будет сделано, ему было все равно.

Тем не менее он был своим визитом в Долгов доволен. Ему показалось, что он сумел расположить к себе немецкого коменданта. Конечно, расположил, раз комендант вступил с ним в коммерческие отношения и дал ему встречное задание, которое, вернувшись в деревню, Гладышев принялся немедленно исполнять. Он вырвал из общей тетради два листка и на одном из них написал: «Список евреев деревни Красное» и на втором: «Список коммунистов деревни Красное». В список коммунистов он внес только одну фамилию – бывшего парторга Килина, которого, впрочем, к тому времени в деревне не оказалось, а под другим незаполненным списком Кузьма Матвеевич написал: «К сожалению, в настоящий момент евреи в деревне Красное не проживают».

Хотя гладышевскому гибриду немцы тоже ходу не дали, но усердие его было ими замечено, и вскоре Кузьма Матвеевич был вызван к оберштурмфюреру Шлегелю и спрошен, не желает ли он стать старостой деревни Красное. Предложение он принял, потому что смолоду мечтал занять руководящую должность, но при советской власти ему подобного не предлагали.

На посту старосты много вреда нанести односельчанам он не успел, но в одном деле все-таки отличился. Когда пришла от немцев разнарядка реквизировать у наиболее зажиточных крестьян деревни десять голов рогатого скота, в список животных, подлежащих угону, Гладышев первым номером вписал Нюрину Красавку, которую после известного случая он ненавидел так яростно, что желал ей смерти, как заклятому человеческому врагу. Он тогда еще и Чонкина возненавидел, и Нюру, но больше всех на свете, больше Чонкина и Нюры, больше Сталина и Гитлера ненавидел Красавку. Часто вспоминал он, а иногда и видел во сне, как она разорила его огород, как нагло дожирала последний куст пукса, и надеялся, и страстно мечтал, что когда-нибудь доживет до часа икс, когда ее, эту рогатую сволочь, возьмут за веревку и поведут, упирающуюся, на бойню. И вот он дожил до этого счастливого мига.

Ранним утром шесть кривоногих солдат немецкой зондеркоманды выводили Красавку из Нюриногo хлева, и корова, как Гладышев и предвидел, что было сил упиралась, выставляла вперед ноги, опускала голову и мотала ею, а Нюра беспомощно пыталась ее отбить. Гладышев смотрел на это в окно и радовался необычайно.

Нюру отталкивали все сильнее, она падала, поднималась и опять кидалась к корове. Гладышев видел, как она пробовала объяснить что-то пожилому фельдфебелю с забинтованным горлом. Умоляюще складывала лодочкой руки, падала на колени, хватала фельдфебеля за ноги. Тот, может быть, и сам был из крестьян и понимал отчаяние русской женщины, не хотел принести ей вреда и потому не сразу ударил ее, а сначала вырывался и, отпугивая, замахивался прикладом, но когда она опять кинулась к корове и, схватив за веревку, потащила ее к себе, не выдержал и так двинул ее в живот, что она упала и, скрючившись в три погибели, долго лежала у дороги и дергалась, как в агонии, пока Нинка Курзова не подняла ее и не отвела домой.

Угоняемых коров быстро собрали на краю деревни и повели в сторону Долгова строем по подмерзшей дороге, по которой всегда кого-нибудь угоняли. То кулаков в Сибирь, то мужиков в армию, и все по одной дороге, и все в одну сторону – туда, за бугор, за которым была как будто черная дыра. Туда уходили многие, но редко кто возвращался.

Гладышев вышел на крыльцо поглядеть на угоняемую ско-

тину. Он видел, как Нюра пыталась спасти свою корову, видел, как немец сперва отталкивал ее, а потом все-таки ударил. Способности к состраданию селекционер еще полностью не утратил, но ненависть к Красавке и жажда мести оказались превыше других его чувств, и, уверившись, что теперь разорительница его научных изысканий понесет заслуженное наказание, он вернулся в избу, выпил на радостях целый стакан своего самогона и сказал сам себе:

– Эх-ха-ха! – и потер в возбуждении руки.

– Чему это ты так радуешься? – спросила его только что проснувшаяся Афродита.

– Жизни радуюсь! – отвечал он ей весело. – Радуюсь, что мы с тобой еще живем, а иные уже ух-ху-ху!

Но недолго длилась радость ученого самородка. В снежном и морозном декабре Красная армия, пожертвовав жизнями миллионов своих солдат, одержала под Москвой первую победу в войне с захватчиками. Долговский район был освобожден партизанами, которыми командовала Аглая Степановна Ревкина. По ее приказу немецких пособников ловили и без долгих разбирательств вешали в Долгове на площади Павших Борцов. Но потом кто-то обратил внимание, что тогда, выходит, и повешенные относятся к павшим борцам. Это соображение внесло некоторое замешательство в действия властей, расправы над немецкими угодниками временно прекратились.

Гладышеву повезло. Он был передан в руки правосудия.

Поскольку ничего особенного он как будто не совершил и попался не под горячую руку, приговор был сравнительно мягкий: пять лет ссылки в отдаленные районы Сибири.

Как ни странно, долговская почта после прихода немцев продолжала работать почти так же, как работала до. Объем поступающей корреспонденции, правда, уменьшился, но совсем не иссяк. А заведовала почтой при немцах все та же Любовь Михайловна Дулова, несмотря на то что была коммунисткой. Немцы поначалу намеревались сделать ей что-нибудь нехорошее, но она представила доказательства, что была дочерью репрессированного кулака, что один дед ее был купцом, а другой священником, в партию она вступила из страха потерять работу, но последние три месяца не платила членские взносы.

Оберштурмфюрер Шлегель принял эти объяснения как приемлемые, поскольку считал себя либералом (по эсэсовским меркам) и хорошо понимал, что в любую партию, хоть в коммунистическую, хоть в нацистскую, человек мог вступить не по идейным, а по обыкновенным меркантильным соображениям. Шлегель учел еще и то, что за Любовь Михайловну хлопотал вступивший с ней в отношения оберфельдфебель Шульц. Так что Любовь Михайловна осталась на прежнем месте, но счастье ее продолжалось недолго.

При отступлении немцев она пыталась отступить вместе с ними и оберфельдфебелем Шульцем и уже упаковала два чемодана, но во время упаковки третьего была схвачена пар-

тизанами Аглаи Ревкиной. Партизаны хотели ее сразу повесить, но учли ее пол, пожалели и придумали ей более мягкое наказание. Обстригли ей полголовы, а после в одной рубашке и босую водили ее по заснеженной площади Павших Борцов и привязывали к позорному столбу с картонкой на груди: «Я спала с фашистом». Это партизаны написали несправедливо, потому что оберфельдфебель Шульц никаким фашистом не был, в нацистской партии не состоял, был по профессии поваром, а на войну пошел против своей воли. Впрочем, речь не о Шульце, а его недолгой любовнице.

Когда она стояла, босая и раздетая, привязанная к столбу, люди подходили к ней, называли сукой и плевали в лицо. В таком положении видела ее Нюра, случайно проходившая через площадь. Наверное, вспомнив, как Любовь Михайловна выгоняла ее с работы, должна была Нюра возразиться, отомстить, плюнуть в лицо и спросить, кто же из них спал с немцем, но Нюра была женщина немстительная, сердобольная. Глядя на бывшую начальницу, она ничего, кроме сочувствия, не испытала. Она даже стала говорить людям:

– Да что ж это такое? Да что ж это вы делаете? Да что ж вы за звери такие? Она ж голая и босая, в сосульку скоро превратится, а вы в нее плюете.

Но народ, в большинстве своем женского пола, был сильно тогда озверевши. Впрочем, народ бывает озверевши всегда, и в легкое время, и в тяжелое, а в то время особенно. Нюра стала защищать свою бывшую начальницу, народу это не по-

навилось, и одна баба в городском мужском пальто сказала: «А что это за фря и чего она за эту хлопочет?» А другая предположила: «Небось тоже такая же, вот и хлопочет». А третья сказала, что ее тоже надо бы к этому столбу с другой стороны привязать для равновесия. И толпа стала вокруг Нюры сгущаться. Но тут послышался крик:

– Да что вы, бабы, орете и на что напираете! Это же Нюра Беляшова, у ей муж на фронте воюет летчиком.

Бабы вокруг растерялись, и пока они думали, считать ли Нюрино летчика смягчающим вину обстоятельством, Катя-телеграфистка (это она и кричала) вывела Нюру за руку из толпы и стала ругать за чрезмерную отзывчивость, за то, что Нюра забыла, как Любовь Михайловна с ней самой обошлась. А потом спросила:

– Ты-то обратно на почту пойдешь?

– Я-то пошла бы, – ответила Нюра, – да кто ж меня примет?

– А я и приму, – сказала Катя. – Я ж теперь буду заведовать почтой. Я и приму. Тем более что Иван твой нашелся.

– Чо-о?! – не поверив своим ушам, вскрикнула Нюра.

– А вот не чо, а нашелся. Пойдем, увидишь, чо покажу!

Быстро добежали до почты, и там, как войдешь, сразу направо, на доске, где висели образцы почтовых открыток и телеграмм, где объявления всякие вывешивались и приказ об увольнении Нюры когда-то висел, там теперь была припилена кнопками статья из газеты «Правда». Нюра сразу увидела напечатанный большими буквами заголовок:

ПОДВИГ ИВАНА ЧОНКИНА

Все еще не веря своим глазам, она приникла к тексту и, шевеля губами, прочла все от начала до конца, от конца к началу. В очерке автор расписал дело так. Летчик Энской части (во время той большой войны все поминавшиеся в советской печати воинские части и объекты военного значения по соображениям секретности назывались Энскими) Иван Чонкин, сбитый в неравном воздушном бою фашистскими стервятниками, вынужден был посадить свой истребитель на захваченной врагом территории в районе города Энска. Естественно, немцы решили его пленить и захватить самолет. Посланный с этой целью отряд отборных головорезов СС не только не сумел этого сделать, но сам был захвачен в плен отважным воином. Затем в дело вступил целый полк. Чонкин оказал ему достойное сопротивление и, будучи

контужен, один держал оборону несколько часов до тех пор, пока ему на выручку не подоспела Энская дивизия генерала Дрынова.

Все, кто в тот час был на почте, радовались за Нюру и поздравляли ее. Только Верка из Ново-Клюквина разозлила Нюру сомнением:

– А твой ли это Чонкин?

– А чей ж еще, как не мой? – отозвалась Нюра. – Мой летчик, и этот летчик. Мой Чонкин Иван, и этот Чонкин Иван. Думаешь, много на свете Иванов-то Чонкиных?

– Да уж и не думаю, что мало, – качнула головой Верка. – Не больно уж и фамилия редкая.

Бывают же такие люди, особенно женщины, которые обязательно, даже не со зла, а по дурасти, скажут вот, не удержатся, что-нибудь такое, отчего портится настроение и теряется аппетит.

Но что бы Верка ни говорила, а Нюру с ее уверенности не сбила, что нашедшийся Иван Чонкин – это ее Иван Чонкин, ее и никакой другой. У нее еще был довод, который она никому не высказала, а в своем уме держала, что на подвиг подобный никто, кроме ее Ивана, может, и не способен, а он способен, и точно такой же уже совершал на ее глазах и с ее посильной помощью.

Прибежала Нюра с газетой в Красное, все избы подряд обошла, всем статью про Ивана показывала. И Тайке Горшковой, и Зинаиде Волковой, и даже бабу Дуню своим вниманием не обделила. Бабы охали и ахали. Одни радовались искренно, другие притворно, третьи непритворно завидовали. Нинка Курзова, так же как Верка из Ново-Клюквина, пыталась охладить Нюру соображением, что, допустим, это даже и тот Иван Чонкин, так что толку, если он живой, а ни разу хотя бы короткого письмишка не написал?

— Мой-то охламон, почитай, каждый день пишет. Я даже не представляю, когда же он там воюет, откуда столько бумаги берет.

И в самом деле Николай радовал жену своими посланиями чуть ли ни каждый день, причем не какими-нибудь, а написанными стихами. Раньше Нинка и не подозревала в Николае никаких поэтических способностей, а тут на войне талант стихотворца вдруг неизвестно с каких причин прорезался, и писал Курзов один за другим длиннющие письма с рифмованным текстом такого, например, содержания:

Вчераś ходили мы на бой,
Фашиста били смело.
Сказал командир наш молодой:

Вы дрались умело...

Не плачьте вы, жена-красотка,

И вы, старушка-мать.

Домой вернемся мы с охоткой,

Вас будем обнимать.

– Все врет, все врет, – сердито ворчала Нинка. – Пишет незнамо чего, правду, неправду, ему лишь бы складно. Старушку-мать к чему-то приплел, а старушка-то мать уж три года как померла. Зачем такую дурь-то писать?

– Чего бы ни писал, а раз пишет, значит, жив, – говорила Нюра. – Это и есть самое главное.

– Это, конечно, да, – со вздохом соглашалась Нинка и бросала письмо в угол на лавку, где и остальные письма уже большой грудой лежали.

Стопка ученических тетрадей в косую линейку хранилась у Нюры с довоенного времени. И чернила нашлись. И толстая канцелярская ручка с пером № 86 на полке не заржавела. Вечером Нюра взяла одну из тетрадей, вырвала из середины двойной лист и легко сочинила:

Добрый день, веселый час, что ты делаешь сейчас, дорогой Ваня? Я живу хорошо, чего и вам сердечно желаю от всей своей женской одинокой души. А также большого здоровья и хорошего настроения. Я, как и в период предыдущего времени, работаю на почте в качестве почтальона, а про вас прочитала в газете, как вы на своем выстрелителе сражались в неравном бою с фашистскими стервятниками. Воюйте, Ваня, с врагом отважно со всей осторожностью и с победой возвращайтесь живой и здоровый к вашей Нюре, которая ждет вас с нетерпеливой любовью. А если возвратитесь без руки или ноги и другой подобной части вашего тела, то и тому буду с сожалением рада, и буду ухаживать за вами, как за малым ребенком, по гроб вашей жизни или своей, лишь бы вы были довольны. На этом свое короткое послание заканчиваю и жду скорейшего ответа, как соловей лета, и не так лета, как ответа. С приветом ваша Анна Беляшова из д. Красное, если вы не забыли.

Прежде чем поставить точку, остановилась в сомнении, что главного не написала, а может, надо бы. О своей беременности ни словом не упомянула. Потом решила:

«Ладно, как отзовется, так напишу».

Сложила письмо треугольником, текстом внутрь, а на чистой стороне осталось написать адрес. Это оказалось задачей нетрудной. Из очерка Криницкого Нюра знала, что Чонкин служит в Энской части. Энская часть, как она понимала, была самая лучшая часть в Красной армии, потому что упоминалась во всех газетах. Все самые славные военные подвиги совершались героями именно этой части. Нюра в армейских структурах не очень-то разбиралась. Поэтому ей не казалось странным, что в Энской части сражались летчики, танкисты, артиллеристы, кавалеристы, пехотинцы и прочие. Не удивлялась она и тому, что Энская часть воевала одновременно на всех фронтах, обороняла Энскую высоту, брала город Энск и наступала на Энском направлении.

Короче, адрес был Нюре известен. Она начертала его на чистой стороне треугольника:

Энская часть СССР, летчику Чонкину Ивану в
личные руки.

И очень была уверена, что он немедленно отзовется. Всем бабам сообщила, что письмо написала и ждет скорого ответа. И правда, ждала. Как только прибывали с поезда очередные мешки с почтой, первая кидалась их рассортировывать, да все без толку.

Казалось, всем, кроме Нюры, кто-то что-то писал. Даже деду Шапкину, сначала живому, а потом мертвому, регулярно слал письма с фронта внучатый племянник Тимоша, который обнаружился только недавно. Тимошу в тридцатом году, когда он еще был подростком, вместе с отцом, матерью, двумя сестрами, дедом и бабушкой выслали неизвестно куда, и до самой до войны слуху-духу от них не было никакого. Теперь он писал длинно и обстоятельно, как везли их зимой в промерзлых теплушках много дней и ночей в неведомом направлении, кормя при этом мороженой мелкой картошкой, нечищенной и отваренной, как для свиней. Бабка спала перед самой дверью и там ночью скончалась, перед тем обмочившись и примерзши к полу.

Довезли их до Казахстана, посадили на большие телеги, везли, везли, сбросили в степи. Дали на человека по полпуду муки и сказали: живите здесь, как хотите. Кто помрет, тому туда и дорога, а кто выживет – молодец. Оставили, правда, несколько лопат, граблей, вил и один топор.

Когда туда приехали, морозы, на счастье, кончились, снег стоял, но пошли дожди, и много дней небо текло на них беспрестанно, степь, промокнув насквозь, стояла набухшая, пустая, из края в край заросшая ковылем да полынью, и было никак не представить, что здесь можно как-нибудь жить.

Не только что бабы, а и мужики взрослые плакали, словно дети. Но отец Тимоши, Тимофей (тоже Шапкин), сказал, что плакать толку мало, слезами горю не поможешь, всем велел браться за инструменты. Сам первый воткнул в землю лопату и стал рыть землянку. Кому не достало главной работы, того посылали в степь искать дикое просо, шалфей и всякие травы, рвать руками ковыль да полынь на топку и ловить, коли удастся, хоть сусликов, хоть мышей – делать припасы. На этих припасах долго б не протянули, но отец однажды куда-то ушел далеко, а приехал на лошади. Лошадь убили, а мясо ее ели потом всю зиму. Повезло, что снег опять выпал, морозы ударили, и мясо не портилось. К тому времени уже выкопали две землянки, сляпали печку и так жили, да не все выжили. Первым дед на тот свет отошел, а к весне обе Тимошины сестры захворали какой-то быстротекущей болезнью и вскоре тоже преставились.

По весне позвал отец Тимошу с собою в бега. Пусть поймают, посадят, убьют, все лучше будет, чем здесь помирать.

Шли они через степь, добрались до станции Есиль, там залезли в вагон с брынзой. Отец наелся брынзы и в том же вагоне умер от заворота кишок. А Тимошу на путях схватила железнодорожная охрана, после чего он был бит и отправлен в детский дом. Там он учился сначала в обычной школе, потом в школе фабрично-заводского обучения и до призыва в армию работал штукатуром.

Тимоша писал исправно, его письма – грязно-желтые тре-

угольники – приходили почти каждый день. Тимоша разрывал свою прошлую и теперешнюю жизнь до мельчайших подробностей, рассказывал о погибших и раненых сослуживцах, а деда Шапкина о его жизни не спрашивал, как бы полагая, что с тем ничего не происходит и ничего случиться не может. Дед давно уже помер, а Тимоша все писал и писал, не обращая внимания на полное недохождение к нему ответов из Красного.

– Ну чо? – нетерпеливо спрашивала Нинка. – Ничо нет из Энской части?

– Ничо, – признавалась Нюра. – Я уж второе письмо туда написала: ни ответа ни привета.

А Нинка была из тех людей, кому неймется, изображая дружеское участие, сказать близкому человеку такую гадость-прегадость, чтоб на душе муторно стало и неудобно.

– Как же, – качала она головой, – он напишет! Прям щас схватится за карандаш и напишет. Чего я тебе скажу, Нюрок, напрасно ты ждешь и сама себя изводишь. Не хочется мне тебе говорить, ей-бо не хочется, но как подруга подруге скажу: не жди, не надейся, на себя на одну вся твоя надежа и есть.

– Да чо ты такое говоришь! – обижалась Нюра. – Почему ж это мне не надеяться? У нас же такая любовь была. Ты ж и не знаешь, как он меня обнимал и на ушко чего говорил.

– Ой, Нюрка, не смей! На ушко он тебе говорил, ой-ёй-ёй! Ну, пришлось ему тут приземлиться, так он с тобой и пожил на свое здоровье. Водочку попил, бабой полакомился, шишку почесал, чего ж ему на ушко не пошептать! А теперь что жа. Он же, понимаешь ты, летчик, сёдни тута, завтра там. А там везде, Нюрка, такие, как мы, тучами ходют.

– А за Колькой твоим не ходют?

– Не серчай, Нюрок, но мы-то с Колькой расписаны, и то я на его не надеюсь, а ты со своим Ванькой-встанькой...

Не договорив, Нинка махнула рукой.

Другие бабы подобного не говорили, а тоже, Нюра примечала, между собой переглядывались, в то, что Чонкин на ее письма отзовется, не верили.

Последнюю неделю января и первую февраля дули сильные ветры. Вьюга вихрила вокруг домов снег, который слой за слоем укладывался, утрамбовывался, утапывался в сугробы. Сугробы росли-росли, поднялись выше крыш, и замерла в Красном всякая жизнь. Люди переживали буйство стихии, забившись по избам. Да и куда выйдешь, если в двух шагах не видать ни человека, ни дерева, ни куста? По ночам сидели без света, не было ни спичек, ни керосину для лампы или коптилки, а жить при лучине отвыкли. На растопку таскали друг к другу горячие угли, только и свету было, что от печного пламени при открытой заслонке. Из остатков муки, перемешанной со жмыхом, отрубями и сушеной лебедой, пекли лепешки, липкие и крохкие.

На время наиболее сильных холодов Олимпиада Петровна, беженка, с внуком Вадиком опять переехала к Нюре для экономии дров, Нюра на это уплотнение согласилась охотно. Хоть и привыкла к одинокой жизни, а все ж испытывала необходимость в присутствии рядом еще кого-то живого. Тем более зимой, когда одинокому человеку бывает так тоскливо, что хоть волком вой. А теперь получилась временная как бы семья. Характер у Нюры был такой, что она всегда вникала в чьи-то проблемы, о ком-то заботилась, кому-то стирала, варила и радовалась, если угодила. Нюра уступила

им свою кровать, сама перебралась на печку. Сама вызвалась стирать Вадиковы штанишки, рубашки и трусики. Олимпиада Петровна заодно свое ей подкидывала, она и против этого не возражала. И в своем доме у своих жильцов превратилась в прислугу. Олимпиада Петровна как прислугу ее и воспринимала, но называла всегда по имени-отчеству. Олимпиада Петровна была женщина городская, избалованная, ходить на речку полоскать белье в проруби не хотела, дрова колоть не умела, чугунок вытащить из печи ухватом была не способна, но любила командовать, поучать и капризничать. То ей в избе слишком жарко, то из щелей дует, то, говорит, от клопов жизни нет.

– Я, Анна Алексеевна, не могу себе представить, неужели вы всю жизнь живете с клопами?

Нюра смущалась, пожимала плечами:

– А куда ж от них денешься? Где люди, там и клопы.

Олимпиада Петровна читала Вадику стихи, которые он легко запоминал, потом громко декламировал:

Онази суденую зиму пою
Я из дому высел, бы синий моёз.
Гизу пимияется медено гою
Осадка, везуся хосту воз.
И сестуя вазно сокойствиин синном,
Осадку ведет под уцы музицок.
В босих сисагах, в пуусубке оцинном,
В босих юкавицах,

А сам сизакок.

Нюра смотрела на Вадика, слушала, улыбалась и гладила свой живот, не то чтобы очень большой, но внимательному взгляду заметный. Там тоже росло существо, хотелось бы, чтоб это был мальчик, который, может быть, будет таким же живым и смышленным, как Вадик. Может, и его она Вадиком назовет, а лучше все же Иваном. Пусть будет Иван Иванович. И она, Нюра, тоже, как Олимпиада Петровна, будет читать Ивану Ивановичу, маленькому Ванюше, стихи про «мужичка-сноготка».

...Метель неожиданно кончилась, засветился день тихий, солнечный, если не жмуриться, можно ослепнуть. Рано утром по морозу, по солнцу, побежала Нюра в легкой своей шубейке, в только что подшитых валенках в Долгов. Хотя и беременная, а бежала легко по следу, проложенному ранними дровнями.

Почты накопилось порядком. Одной только Нинке Курзовой было четыре письма – три от Николая и одно от двоюродной сестры из Пензенской области. Было еще две посылки. Одну, бабе Дуне от внука, Нюра взяла с собой, другую – жене Плечевого Александре от Люшки из Куйбышева – не взяла: фанерный ящик был тяжеловат. Одолжила у Катьки бутылку керосина. Выкупила по карточкам хлеб за неделю – без двухсот грамм три кило, – еще теплый. Пока шла, отщипывала по кусочку, сама себя не в силах остановить. Когда меньше половины осталось, пересилила себя, сунула остаток в сумку поглубже и пошла быстрее, стараясь не думать о еде.

Солнце стояло еще высоко, от сверкающего в его свете снега резало глаза. И хотя было ясно, что зима уже на исходе, а все же мороз еще хватал за нос, и к вечеру (на почте сказали) будет дальнейшее похолодание. Шубейка, скроенная из маминой плюшевой куртки, из ее же ватной телогрейки с овчинным воротником, была от мороза слабой защитой, но

Нюра прытко бежала со своею тяжелой ношей, бежала, как лошадь, чуя приближение к дому, хорошо, дорога уже была раскатана, разглажена полозьями (и жирно лоснилась), ноги сами по ней несли, только успевай подпрыгивать.

Нюра хотела, не заходя домой, разнести почту, чтобы успеть дотемна покормить Борьку, но, пробегая мимо избы, увидела: на крыльцо вышла Олимпиада Петровна, неодетая, накрывшись байковым одеялом, придерживаемым у горла.

– Анна Алексеевна! – закричала она, махнув свободной рукой. – Домой скорее, гость к вам приехал!

Сердце заколотилось, ноги ослабли, к горлу подступила тошнота: неужто Иван?

А почему ж посреди зимы да в разгар войны? Разве что ранен. Хорошо б не сильно. Но если даже и сильно, даже если без одной руки... или без одной ноги... а если даже и вовсе без рук, без ног... Ожидая встречи с полным обрубок, она вбежала в избу и у порога застыла, раскрывши рот.

У окна на лавке сидел маленький пожилой человек, небритый, с коротко стриженной шишковатой головой, в старой изодранной форме войск НКВД, с выцветшими петлицами. Щеки его провалились, глаза вылезли из орбит – страшно смотреть.

Нюра узнала гостя, удивилась и почувствовала разочарование – не его ждала.

Увидев Нюру, гость встал, двинулся к ней, но сделал один только шаг, зашатался и, удерживая равновесие, нелепо за-

махал руками.

– Папаня! – вскрикнула Нюра. Уронила сумку, бросилась к отцу, устыдившись первого чувства. Успела подхватить его, удержала. Обхватила руками его маленькую голову, твердую, как деревяшка, и заплакала беззвучно. Слезы катились по щекам, падали на колючее темя, отец, маленький, телом что десятилетний ребенок, замер, уткнувшись ей в грудь, и его худые руки висели как палки. Потом зашевелился.

– Пусти, доченька, – захрипел он из-под ее локтя. – Придушишь меня. Слаб.

Нюра поспешно отпустила его, усадила на лавку, посмотрела ему в лицо и снова заплакала, теперь уже в голос.

– Папаня, милый папаня, – причитала она, – что же с вами наделала война эта проклятая!

– Люди, дочка, страшной войны, – тихо сказал отец, закрывая глаза от слабости.

Она спустилась в погреб, впотьмах выбирала картошку, какая получше, помыла, наполнила чугунок, поставила в печку.

Отец спал, положив голову на руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.